



Ева Зими́на

ТАЙНЫЙ
НАСЛЕДНИК
ДРАКОНА

Ева Зимина

Тайный наследник дракона

<https://litres.ru/74089101>

SelfPub; 2026

Аннотация

Шесть лет назад огранщица Эльда бежала с Гранёного кряжа под зимний дождь — изгнанная, оболганная, под чужим именем и с тайной под сердцем. Теперь у неё тихий городок на краю империи, ремесло и сын, о котором никто не должен узнать: в глазах мальчика — золотая искра самоцветного дракона.

Но в город входит отряд того, от кого она бежала. Лорд Каэл Гранн, владыка самоцветной горы, медленно каменеет без истинной пары — и не знает, что у него есть наследник. Одного взгляда на ребёнка хватает, чтобы шесть лет тишины раскололись, как камень от неверного удара.

Эльду ждёт возвращение в дом, что её отверг: холодная бабка, навязанная жениху невеста, кастелян с холёными руками и мягким голосом — и древнее Гранёное сердце, что мутнеет на лжи и пылает на правде. Кто-то солгал шесть лет назад. И этот кто-то всё ещё в доме.

Чтобы спасти сына, дракона и саму себя, ей придётся сделать то, чего она боялась всю жизнь, — перестать прятаться и заставить камень сказать правду при всех.

Содержание

Глава 1. Глинь	4
Глава 2. Ограницица короне нужна	17
Глава 3. Кто-то солгал	30
Глава 4. Гранёный кряж	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Ева Зимина

Тайный наследник дракона

Глава 1. Глинь

Хороший камень нельзя торопить, и хорошую ложь — тоже; я знала это лучше всех в Глини, потому что жила и тем, и другим.

Камень я держала на свету и ждала, пока он сам покажет, где у него сердце, а где трещина, притворяющаяся жилкой. Ложь я держала так же — на ладони, не дыша, и ждала, пока она помутнеет. У меня для этого был серый невзрачный осколок горного хрусталя на шнурке под воротом, и за шесть лет он ни разу меня не подвёл. Чистый камень — на правду. Мутный, будто в него дохнули холодом, — на ложь. Этому фокусу не учат в гильдиях. Этому вообще нигде не учат. Поэтому я и молчала о нём шесть лет, как молчала обо всём, что могло отправить меня в Обитель Пепла, а сына — в чужие руки.

— Бирюза, госпожа Эльда, чистейшая, с гор, — частил надо мной торговец, раскладывая на тряпице голубые катыши. — Сама знаешь, такую везут от самого Кряжа.

Я не подняла головы. Я сжала свой осколок в кулаке под

фартуком и спросила ровно:

— От самого Кряжа, говоришь.

— От самого, — побожился он.

Камень в кулаке отозвался холодком, будто я зачерпнула им из колодца. Помутнел. Я разжала ладонь, посмотрела на «бирюзу» уже без всякого камня — глазом огранщицы. Прокрашенная говлит, дешёвый белый минерал, вываренный в синьке. На сколе была бы видна правда, но скол он мне, конечно, не покажет.

— Крашенная, — сказала я. — И не с Кряжа, а из ямы под Глинью, где такой говлит дети ведром черпают. За правду дам две монеты. За враньё — ничего и ещё совет: не божись «от самого Кряжа» при той, кто оттуда родом.

Он побагровел, смёл свои катыши и убрался. Я не злорадствовала. Я просто не выношу, когда мне врут гладко. Гладкая ложь — как идеальный камень без единого изъяна: в природе таких почти нет, и если тебе суют такой за бесценник, значит, перед тобой стекло. У всякой правды есть изъян, по которому её узнаёшь. У всякой лжи — гладкий бок.

— Опять ты человека без покупки оставила, — проворчала с соседнего прилавка Марта, не отрываясь от своих лент. Марта торговала тесьмой, пуговицами и всем тем мелким, на чём держится женский мир, и считала своим долгом приглядывать за мной, как приглядывают за чужой кошкой, которая повадилась греться у твоего порога. — С таким языком, Эльда, ты до старости одна просидишь.

— Я не одна, — сказала я. — У меня Рин.

— Рин — это сын. А я про мужа.

— Муж — это ещё один рот и ещё один способ, чтобы тебе втирали в лицо каждое утро, — отозвалась я, и Марта махнула на меня рукой, как машут на безнадёжное.

Рин сидел у меня под боком на низкой скамеечке, болтал ногами, не достающими до земли, и смотрел снизу вверх тем своим взглядом, от которого у меня каждый раз заходило сердце. Пять лет. Рыжеватая макушка, веснушки, как крошки янтаря. И глаза. Про глаза я старалась не думать — это была у меня отдельная работа, как не трогать языком больной зуб.

— Мам, ты опять его напугала, — сказал он.

— Я его не пугала, я ему помогла, — сказала я. — Теперь он знает, что в Глини есть человек, который видит. Это полезно. Держи.

Я сунула ему ломоть хлеба с мёдом, и он притих, занятый делом поважнее всех бирюз мира.

Глинь — городок, про который не говорят «доедешь», говорят «доберёшься». Восточная окраина империи, где горы уже встают по краю неба синей зубчатой стеной, но до настоящих гор ещё три дня худой дороги. Сюда стекается всё, что осыпается с богатых мест: треснутые самоцветы, которые не взяли мастера побогаче, люди, которых не взяла жизнь побогаче, и я. Я гранила тут уже шесть лет и считалась лучшей огранщицей на четыре дня пути в любую сторону — что, ес-

ли честно, говорит не столько обо мне, сколько о четырёх днях пути.

Мне хватало. У меня была мастерская в полдома, диск с алмазным крошечком, верный глаз, тихий дар и сын. Больше я ничего не просила у мира, потому что один раз попросила слишком многого и до сих пор за это платила.

Я и сюда пришла не своими ногами — меня сюда вынесло, как выносит течением щепку, которой повезло не утонуть. Я помнила дорогу обрывками: зимний тракт, попутные телеги, чужая баба, что отдала мне свой платок, не спросив имени, и собственный живот, который рос и не давал забыть, ради кого я переставляю ноги. Я пришла в Глинь на сносях, без кольца, без бумаг, под чужой простой фамилией — Корвен, первое, что подвернулось, — и родила Рина в каморке над мастерской старого Бертольда, который пустил беременную чужачку, потому что у него самого когда-то была дочь и не стало. Бертольд научил меня здешней огранке, оставил мне диск и инструмент, а через три года тихо умер во сне, и я закрыла ему глаза и стала в Глини «той огранщицей, что от Бертольда». Своего прошлого я не рассказывала никому. В Глини и не спрашивают. Сюда добираются как раз затем, чтобы не спрашивали.

— Считаю со мной, — сказала я Рину, усадив его перебирать обрезки бечёвки, пока сама правила грань на гранате для вдовы аптекаря. — Сколько граней у этого камня?

— Восемь снизу, восемь сверху, — выпалил он, не считая.

Он никогда не считал. Он просто знал.

— А почему ровно восемь?

— Потому что так свет не убегает, — сказал он и пожал плечами, будто я спросила, почему вода мокрая.

Я молчала и правила грань. У других детей в пять лет считалка путается на «семи». Мой видел камень насквозь, как я, только без осколка под воротом и без шести лет страха за плечами. Это и был мой настоящий секрет, тот, что страшнее моего. Не крашенная бирюза. Не серый хрусталь. Мой секрет болтал сейчас ногами и слизывал мёд с пальцев, и звали его Рин, и кровь в нём была не моя — вернее, не только моя.

Я не разрешала ему делать «красиво». Так я это называла, чтобы не называть настоящим словом. «Не делай красиво при чужих, солнышко. Только дома, только при мне». Он кивал и почти всегда слушался. Почти. Дома, под нашей крышей, я разрешала ему класть ладошку на тусклый камешек и смотреть, как тот наливается светом, и сама смотрела, и сердце у меня то таяло, то леденело: таяло — потому что красиво; леденело — потому что я знала, чья это кровь и чем это пахнет для нас обоих, если кто-нибудь увидит.

Потому что огонь в империи запрещён, а дар самоцветного дракона в простом мальчишке без рода, без записи, без отцовского имени — это даже не огонь. Это вопрос, на который нет хорошего ответа. Откуда у нищей огранщицы из Глины сын с даром драконьего дома? И всякий ответ ведёт туда, куда я шесть лет не пускала даже собственные мысли.

В то утро всё было как всегда, и я была за это благодарна, потому что научилась ценить «как всегда» так, как ценит тепло тот, кто однажды замерзал. А потом в дальнем конце площади ударил колокол не по часам, и торг стих весь разом, будто кто накрыл его ладонью.

В Глинь въезжал отряд.

Сначала кони — крупные, не крестьянские, серой и вороной масти, в пополах без гербов, что само по себе говорило громче любого герба: гербов не носят те, кому незачем называться, потому что их и так все боятся. Потом люди — десяток, в тёмной коже и серой стали, и двигались они так, как двигаются те, кто привык, что перед ними расступаются. Перед ними расступились. Марта рядом охнула и зачем-то стала собирать ленты, будто драконам короны было дело до её тесьмы.

— Закрывайся, Эльда, — шепнула она. — Где войско без герба, там добра не жди. Бери мальчика и...

Я не услышала, чем кончился её совет.

Я увидела его, и площадь, и торг, и крашеная бирюза, и шесть лет — всё это сложилось и осыпалось, как плохо огранённый камень от одного неверного удара.

Он ехал впереди. Он всегда ехал впереди, даже когда не хотел, потому что не уметь быть первым он не умел. Высокий, тяжёлый в плечах, тёмные волосы тронуты на висках не сединой — у него не бывает седины, — а чем-то светлее, серым с искрой, будто иней лёг на камень. Лицо я узнала бы

и через шестьдесят лет, не то что через шесть: резкое, с тяжёлыми веками, с этой складкой у рта, которую я когда-то целовала и думала, что она от того, что он много молчит. Теперь я знала, что она от того, что он много терпит.

Каэл Гранн. Господин дома Гранн, владыка Гранёного кряжа, страж Восточного рубежа. Дракон. Отец моего сына, который не знал, что у него есть сын.

Я не вскрикнула. За шесть лет я разучилась вскрикивать — это роскошь для тех, кому есть на кого опереться. Я просто опустила руку на макушку Рина, тёплую, рыжую, родную, и почувствовала, как у меня немеют пальцы.

— Мам, ты делаешь больно, — шепнул он.

Я разжала пальцы. Сердце колотилось так, что в ушах звенело, а я смотрела и не могла не смотреть, и взгляд мой, как назло, цеплялся не за лицо, а за его правую руку, лежавшую на поводе.

Рука была не его.

То есть его — но не та, что я помнила. От запястья к костяшкам по тыльной стороне ладони шёл камень. Не перчатка, не браслет. Камень рос из кожи, как растёт он из породы, — гладкий, голубовато-серый, с приглушённым самоцветным отливом, и пальцы над ним двигались уже не все. Безымянный и мизинец застыли чуть согнутыми, будто навсегда сжали что-то невидимое. Я знала, что это. Я слышала о таком давно, в другой жизни, когда жила среди драконов и не понимала, как мне повезло. Каменеет. Самоцветный

дракон, потерявший истинную пару, каменеет изнутри: сердечный камень твердеет первым, потом это выходит наружу, ползёт по телу, и человек медленно стекленеет в самоцвет, красивый и мёртвый. Шесть лет. Камень дошёл до кисти за шесть лет.

За ровно столько, сколько меня не было рядом.

Мысль пришла раньше, чем я успела её прогнать, и я почти возненавидела себя за то, как сладко и страшно она кольнула: «Это из-за меня». А следом, холодной волной, накрыло другое, настоящее: «Если он каменеет без пары — значит, он так и не нашёл пару. Значит, он не привёл в дом другую. Значит, он всё ещё...» Я оборвала себя. Это не моё дело. Шесть лет назад его дом сказал мне, кто я ему: ошибка, выскочка, лгунья, которую Гранёное сердце уличило при всех. Его дом вышвырнул меня за ворота под зимний дождь, и он не вышел следом. Этого довольно, чтобы перестать думать про чью-то руку.

Я закрыла глаза и на один удар сердца позволила себе вспомнить — не его дом, нет, а самого его. Грот под кряжем, где Гранёное сердце дышало в темноте тёплым светом, как живое. Его ладонь — ещё живую, ещё тёплую — у меня на затылке. Его голос, низкий, без той складки у рта: «Я тебя нашёл. Слышишь? Из всей горы — тебя». Я тогда поверила. Я, которая не верила гладкому, поверила в самое гладкое, что бывает, — в то, что меня, нищую огранщицу, выбрало сердце горы и выбрал дракон. А через три дня то же сердце

при всём дворе помутнело на мне, и тот же дракон смотрел, как меня выводят, и молчал. Вот и вся моя вера. Один раз — и на шесть лет вперёд.

— Кто это, мам? — спросил Рин, привстав на скамеечке, чтобы лучше видеть. Любопытный, как все дети, и бесстрашный, как все, кого пока ни разу по-настоящему не пугали. — Это драконы? Настоящие?

— Сядь, — сказала я тихо, и что-то в моём голосе было такое, что он сел сразу. — Сядь и не делай красиво. Слышишь меня? Что бы ни было — не делай красиво.

Отряд встал посреди площади. Один из людей Каэла развернул свиток и зачитал нараспев, для всех: дом Гранн именем короны ищет тех, кто торгует запретным товаром — кристаллическими сердечниками, что вынимают сердце из самоцвета и вставляют в гасители. Гасители. Я знала и это слово, и от него у меня всегда сводило зубы. Амулеты, что глушат дар, чтобы снять его с живого человека и слить в склянку, как сливают вино. На сердечники для них идёт особый кристалл — а особый кристалл в империи растёт в одном месте, под Гранёным кряжем. Выходит, кто-то воровал сердце у горы Каэла и продавал его тем, кто ворует сердце у людей. И Каэл пришёл за этим воров сам, через всю империю, с рукой, которая уже наполовину перестала быть рукой.

По площади пополз тот особый шепоток, каким торг встречает беду: бабы хватали детей за ворота, мужики прятали глаза, кто-то уже задвигал ставень. В Глини знали, что

бывает, когда корона ищет запретное: ищут одно, а находят всякого, у кого рыльце в пушку, и у кого не в пушку — тоже находят, лишь бы было кого предъявить. Я видела, как двое серых брали людей за руки и поворачивали ладонями вверх — высматривали то ли мозоль огранщика, то ли след дара, то ли клеймо. Чужие ладони покорно ложились в чужие руки. Я подумала о ладошке Рина, тёплой, в медовых крошках, в которой только что горел живой самоцвет, и у меня внутри всё сжалось в один холодный кулак.

Мне бы радоваться. Он занят. Он не за мной. Он не знает, что я в Глини, — да он и не вспомнит Глинь, городок, в который «добираются». Постоит, попугает торг, найдёт своего вора и уедет в свои горы каменеть дальше. А я возьму Рина за руку и тихо, дворами, уйду домой, и завтра это будет просто страшный сон, каких у меня и так хватает.

Так я себе говорила, и почти верила, и уже подбирала под лавку короб с инструментом, когда один из людей в серой стали спешил и пошёл вдоль прилавков. Не торопясь. Он не искал глазами вора — вора так не ищут. Он спрашивал. Останавливался у каждого пятого, наклонялся, ронял пару слов, слушал ответ. И ответы его, видно, не радовали, потому что складка между бровей у него росла.

— Сердечник режут не топором, — донеслось до меня, когда он поравнялся с тележкой горшечника через проход. — Чтобы вынуть сердце из самоцвета чисто, нужна рука. Огранщик нужен, и не из последних. Кто в Глини камень

гранит?

Горшечник заюлил, забормотал, что не знает, что он по глине, что огранщиков тут отродясь нет, и я машинально стиснула под фартуком свой осколок — по старой привычке, не думая. Камень кольнул холодком. Горшечник врал: меня знала вся площадь. Он врал из того простого страха, по которому простой человек врёт всякому, кто при оружии и без герба, — не чтобы спасти меня, а чтобы поскорее убрать от себя беду. Но беда от этого никуда не делась. Она просто стала ближе, потому что теперь я знала: им нужен огранщик. А лучший огранщик на четыре дня пути сидел между крашеной бирюзой и горящим ребёнком и держал в кулаке камень, мутный от чужого вранья.

Я уже привстала. Я уже взяла Рина за плечо. И в эту секунду мой сын, который почти всегда слушался, сделал то единственное, чего я просила не делать.

На прилавке передо мной лежал обрезаек — мутный, треснутый кварц, который я держала, чтобы показывать ученикам, как НЕ надо. Рин смотрел не на меня и не на драконов. Он смотрел на отряд, и в глазах у него было то самое восхищение, от которого у матерей одарённых детей седеют виски. Он протянул палец и тронул мутный кварц. Просто тронул, как трогают, чтобы было «красиво».

И кварц проснулся.

Трещина внутри затянулась, будто её и не было. Муть ушла, как уходит дыхание со стекла. Камень налился ровным

тёплым светом — не отражённым, своим, как уголёк под золой, — и в этом свете на сером прилавке посреди серой площади вспыхнула крошечная искра чистого живого самоцвета. Красиво. До слёз красиво. И видно за десять шагов.

— Рин, — выдохнула я и накрыла камень ладонью, обожглась о его тепло, сгребла в фартук. — Рин, нет...

Поздно.

Я почувствовала это раньше, чем подняла глаза, — так чувствуешь сквозняк затылком в запертой комнате. По площади будто прошёл толчок. Кони драконьего отряда переступили разом. А сам Каэл, который только что смотрел поверх голов, выискивая своего вора, своё ворованное сердце горы, — Каэл повернул голову. Медленно. Как поворачивается стрелка к железу. И его взгляд, тяжёлый, тёмный, прошёл по торгу, по лицам, по мне — задержался на мне на удар сердца, и я перестала дышать совсем, — а потом скользнул ниже и остановился.

На Рине.

На рыжей макушке. На веснушках, как янтарная крошка. На крошечном живом самоцвете, что светился у мальчика в ладошке.

И на его глазах.

Я смотрела, как Каэл смотрит на моего сына, и видела, как меняется его лицо, — не от удивления даже, а от узнавания, от того узнавания, что бьёт под колени, потому что человек видит чужие глаза и понимает, что они не чужие. Потому что

у моего Рина глаза были не мои. Тёмные, с тяжёлыми веками, с золотой искрой в самой глубине, какая бывает только у самоцветных драконов, когда в них просыпается дар.

Точно такие, как у всадника посреди площади.

Каэл Гранн смотрел на моего сына и впервые не знал, что сказать. А я стояла, прижимая к животу горящий камень и горящего ребёнка, и понимала, что шесть лет тишины кончились прямо сейчас, посреди торга, между крашеной бирюзой и колоколом не по часам.

Глава 2. Ограница короне нужна

Я не дала им дойти до Рина первыми. Это было единственное, что я ещё могла решить сама, и я решила: встала, отряхнула фартук от каменной пыли и пошла навстречу драконьему отряду через расступившийся торг, как идут к зубному, — зная, что будет больно, и желая поскорее покончить.

— Ищите ограница, — сказала я тому, в серой стали, что выпрашивал горшечника. — Это я. Эльда Корвен. Гранила у Бертольда, теперь сама. Лучше меня тут не найдёте, хуже — сколько угодно.

Я говорила с ним, а смотрела мимо — на Рина, которого усадила обратно на скамью и которому глазами велела: сиди. И ещё я смотрела, не глядя, на того, кто остался в седле. На Каэла. Я чувствовала его взгляд затылком, скулой, всей кожей — так чувствуешь жар печи спиной, не оборачиваясь. Шесть лет я отучала себя его чувствовать. Шесть лет коту под хвост за один колокол не по часам.

— Господин, — серый обернулся к Каэлу. — Ограница. И тогда мне пришлось.

Я подняла глаза и посмотрела на него прямо, потому что прятать глаза — значит признать, что тебе есть что прятать, а у меня за спиной сидело всё, что мне есть прятать, и ему нельзя было дать повод обернуться туда. Каэл смотрел на ме-

ня сверху, с коня, и лицо у него было то самое, нечитаемое, выточенное, — но я знала это лицо лучше, чем своё, и видела под камнем трещину. Он узнал меня в ту же секунду, что и я его. Он просто умел не показывать, а я никогда толком не умела.

— Эльда, — сказал он.

Одно слово. Моё имя в его рту — без фамилии, которую я себе придумала, без «госпожи», просто имя, как шесть лет назад в гроте. И этого хватило, чтобы у меня подкосило что-то внутри, и хватило, чтобы я разозлилась на себя за то, что подкосило.

— Госпожа Корвен, — поправила я. — Мы, кажется, не представлены, господин дракон. В Глини знатных гостей нечасто, я могла бы и запомнить.

Это была ложь, и гладкая ложь, и он это понял. Что-то дрогнуло у его губ — не улыбка, призрак того, что когда-то ею было.

— Не представлены, — повторил он медленно, пробуя мою ложь на вес, как пробуют камень: настоящий или дутый. — Что ж. Лорд Каэл Гранн. Мне нужен ограничик. Сегодня. Ты пойдёшь со мной.

— У меня сын, — сказала я. И тут же прикусила язык, потому что это было хуже всего, что я могла сказать, — но и промолчать было нельзя: оставить Рина одного на площади среди серых я не могла. — Мне его не на кого оставить. Если короне нужны мои руки, корона потерпит при них ребёнка.

Или ищите другого огранщика на четыре дня пути.

Я смотрела ему в лицо, когда говорила «сын», и видела, как это слово в него входит. Он не дрогнул. Он слишком хорошо держал. Но рука его, та, что из камня, лежавшая на луке седла, сжалась — насколько ещё могла сжаться, — и я поняла, что он не забыл, что он видел на торгу. Глаза. Свет в кварце. Он всё видел и всё считал, мой дракон, который считал камень лучше всех в империи.

— Бери ребёнка, — сказал он наконец, и голос у него сел на полтона. — Идём.

Нас привезли на постоялый двор «Три кирки» — лучший в Глини, что значит: с двором, конюшней и комнатой, где не текло с потолка. Серые заняли его весь. В нижней зале сдвинули столы, и на них при свете десятка свечей лежало то, ради чего дом Гранн ехал через всю империю: товар.

Я видала гасители прежде — мельком, издали, и старалась не видать вовсе. Тут их была целая груда. Тёмные плоские амулеты, как обмылки чёрного стекла, и в каждом — мутное сердечко, бывший живой самоцвет, у которого вынули свет. Их разложили рядами, как рыбу на льду. А отдельно, на чёрном сукне, лежали сердечники — ещё не вставленные, голые: огранённые кристаллы размером с ноготь, идеально чистые, идеально мёртвые. Меня замутило. Я знала эту чистоту. Так чисто камень не бывает сам собой. Так чисто его делают, когда из него выгравивают всё лишнее, всю жизнь, всю трещинку, по которой узнаёшь правду, — и оставляют

гладкое стекло, готовое жрать чужой дар.

Странно было снова стоять среди драконьих людей. Шесть лет я прожила там, где самое большое чудо — двойная радуга над глинищем, а самая большая власть — староста с печатью из репы. Я отвыкла от этого воздуха — плотного, тихого, какой стоит вокруг тех, кто привык повелевать не голосом, а присутствием. Серые двигались без лишних слов, гасили лишние свечи, говорили вполголоса; и посреди них стоял Каэл, и от него этот воздух шёл, как холод от ледника, и я ловила себя на том, что мои плечи сами вспоминают, как при нём держаться. Я их одёрнула. Я больше не та девчонка из мастерской, которую дракон поднял из пыли и которой за это пришлось так дорого заплатить. Я мать. У матери спина прямая по другой причине.

— Госпожа долго будет любоваться или всё же посмотрит товар? — обронил кто-то из серых, помоложе, кому моя медлительность показалась спесью.

— Госпожа смотрит, — сказала я, не оборачиваясь. — Товар, в отличие от людей, стоит того, чтобы на него смотреть долго. Соврёт — так хоть красиво.

— Скажи мне, — Каэл встал по другую сторону стола, и свеча легла ему на лицо снизу, выбелив скулы. — Кто это резал.

Я наклонилась над сердечниками. Взяла один пинцетом — голыми руками я бы к нему не притронулась, — повернула к свету. Огранка была хороша. Слишком хороша для

бродячего проходимца, и не настолько безупречна, чтобы её делал мастер столичной гильдии. Это была работа того, кто учился у больших и осел в малом. Это была работа кого-то вроде меня.

— Рука одна, — сказала я. — Везде одна и та же рука. Видите наклон площадки? Он его держит чуть влево, потому что у него правый глаз слабее левого — гранит, склонив голову. И торопится в павильоне, на нижних гранях: тут чисто, а тут зализал. Это не любитель и не великий мастер. Это хороший огранщик, который режет много и быстро, потому что ему платят сдельно и торопят. Один человек. Не гильдия. Не артель.

Каэл молчал. Я чувствовала, что он смотрит не на сердечник — на меня, на мои руки над сердечником, и это было невыносимо, потому что мои руки он тоже знал.

— Ты всегда умела читать чужую руку, — сказал он тихо.

— Это моя работа, — сказала я, не поднимая головы. — Камень не врёт, как человек. У камня всё на лице. Только смотреть надо уметь.

— А человек?

Я подняла голову. Зря.

— А человека, господин Гранн, я разучилась читать. Шесть лет как. Невыгодное оказалось ремесло.

Мы смотрели друг на друга над грудой выпотрошенных самоцветов и мёртвых амулетов, и Рин, сидевший в углу на лавке, болтал ногами и таращился на драконов во все свои

тёмные золотые глаза, и я молилась всем камням мира, чтобы Каэл не обернулся.

Он не обернулся. Пока.

— Эти сердечники режут под Глинию, — сказал он, заставив себя вернуться к делу, и я была ему за это почти благодарна. — Сырьё одно — с моей жилы. С моей горы крадут кристалл, гранят его где-то рядом, начинают гасители и расходятся по империи. Я полгода шёл по этой нитке от столицы. Нитка кончается здесь. Мне нужен тот, кто это режет. И мне нужен тот, кто скупает.

— Зачем вам это самому? — спросила я, и спросила честно, потому что не понимала. — Господин дома не ездит за контрабандой через всю империю. Для этого есть стража, ловчие, коронные ведомства. Я слыхала, есть даже целое ведомство — женщина какая-то при короне, ловит тех, кто доит дар. Пошлите им весточку и сидите в своём чертоге.

Что-то прошло по его лицу.

— Это моя гора, — сказал он. — И мой камень. Из моего камня делают то, чем глушат и обирают одарённых. Пока я этого не останавливаю, я не я.

Я сжала под фартуком осколок. Старая привычка. Камень в кулаке остался тёплым, чистым. Он не врал. Это и было хуже всего: он говорил правду, мой дракон, он действительно ехал спасать чужих одарённых от своего же камня, с рукой, обращающейся в самоцвет, — и от этого его было невозможно ненавидеть так чисто и гладко, как я привыкла. Нена-

висть моя дала трещину, а трещина — это всегда начало конца камня.

— А ещё, — сказала я, чтобы загнать трещину обратно, — вы здесь не только за этим.

Я сама не знала, зачем это сказала. Может, чтобы услышать ложь и снова его возненавидеть.

— Не только, — согласился он, и осколок в моём кулаке остался чист. — Но об этом, госпожа Корвен, я говорить с тобой не буду.

Чистый камень. Правда. Он был здесь не только за контрабандой — и он сам это знал, и не лгал даже себе. Я отпустила осколок, будто он обжёл.

Между нами повисло то, что повисает между двумя, кто когда-то делил одно дыхание, а теперь делит только стол с чужими покойниками-камнями. Я могла бы промолчать. Я молчала шесть лет, у меня был навык. Но день выдался длинный, а нитка моей выдержки — короткой, и я её порвала.

— Вы хорошо выглядите, господин Гранн, — сказала я. — Для человека, которому при мне когда-то клялись, что я лгунья, и который этому поверил. Камень на руке — это от честного труда или совесть прорастает?

Зала затихла ещё на тон. Серые сделали вид, что их тут нет. Каэл не отвёл глаз.

— Тебе сказали не всё, — проговорил он.

— Мне сказали достаточно. Мне сказали это ваше Гранёное сердце, при всём вашем дворе, при вашей бабке, при вас.

Камень помутнел на мне, лорд. Ваш родовой камень, который не ошибается. Назвал меня ложью. А вы стояли вот так же, ровно, и смотрели, как меня выводят под дождь. Что мне ещё должны были сказать, чтобы я поняла?

Я думала, он отгородится своим выточенным лицом, как отгораживался всегда. Но он сделал хуже. Он положил каменную руку на стол — тяжело, глухо стукнув самоцветом о доску, — и посмотрел на неё, на сросшиеся пальцы, будто видел в них ответ.

— Шесть лет назад, — сказал он, — Сердце показало мне, что моя истинная пара лжёт и что её надо отпустить. Я отпустил. — Он поднял на меня глаза. — С тех пор оно ни на кого не загоралось. И вот это, — он чуть шевельнул каменными пальцами, — растёт с того самого дня. Дракон каменеет без истинной пары, госпожа Корвен. Не без жены. Не без удобной невесты, которых мне за шесть лет сватали дюжину. Без той, единственной, которую Сердце назвало моей и тут же — ложной. Объясни мне, как обе эти вещи могут быть правдой. Я шесть лет не могу.

Я не нашлась что ответить. У меня внутри что-то осыпалось — тихо, как осыпается переогранённый камень. Он не торжествовал. Он не врал, осколок лежал у меня в кулаке чистый и тёплый. Он правда не понимал. Все эти годы он думал, что Сердце сказало правду, и каменел из-за правды, а я думала, что он мне солгал, и леденела из-за лжи, и мы оба были несчастны из-за одного и того же — и не знали, из-

за чего.

— Не знаю, — сказала я наконец, и это было первое честное слово между нами за шесть лет. — Я только знаю, что я тебе не лгала. Тогда — не лгала. Что бы там ни помутнело.

Он смотрел на меня долго. Потом убрал руку со стола.

— Работай, — сказал он глухо. — Поговорим после.

«Поговорим после». За шесть лет я выучила цену словам, которые откладывают разговор на потом, — обычно «потом» не наступает, и это к лучшему. Но этот дракон своих «после» не забывал никогда. Я знала: разговор будет, и будет страшный, и единственное, что я могла, — оттянуть его настолько, чтобы успеть придумать, как спасти Рина, если всё пойдёт худо. А худо могло пойти стольким способом, что у меня темнело в глазах, стоило начать считать.

Они дали мне стол у окна, лупу получше моей и грудку улик, и я работала до темноты, сортируя сердечники по руке, по сырью, по тому, на какие гасители их ставили. Рин сидел рядом, грыз сухарь, который ему сунул хмурый серый по имени Дарн — оказалось, у того дома такой же, мал мала меньше, — и вёл себя на удивление смирно. Я выдыхала. Я почти поверила, что переживу этот день. Что Каэл уедет за своим вором, а я останусь со своим секретом.

Работа меня всегда спасала. За работой руки заняты, а голове некогда выть. Я разложила гасители по сырью — и наткнулась на странность. Часть сердечников была вынута из камня, который и впрямь резали под Глинью; а часть — нет.

Часть несла на сколе тот самый голубой огонь с золотой искрой, какой я нигде, кроме как в жиле Кряжа, не видела, и какой только что горел в ладонке моего сына. То есть кто-то ставил в гасители не просто кристалл с горы Каэла — а кристалл с самого сердца жилы, из заповедной её глубины, куда чужого не пускают. Такой камень не своручешь мимоходом. Такой камень даёт тот, у кого есть ключ.

— Эта дрянь как работает, — буркнул рядом Дарн, тот хмурый серый, что дал Рину сухарь. Он не спрашивал, он думал вслух, глядя на амулеты с отвращением человека, на-видавшегося их дела. — Вешают на одарённого — и он гаснет. А потом из него тянут, тянут, пока не вытянут.

— Гаснет не всякий, — сказала я, потому что это я знала, и знала, отчего у меня всегда сводит зубы. — Гаситель настроен по реестрам. Он берёт дар, который записан, учтён, понятен ему. А вот дикий дар, незаписанный, он взять не может — давится и лопаётся. Говорят, на севере есть женщина, вольный огонь, так у неё от одного взгляда кольцо этих штук разлетается в труху. — Я сказала это и тут же пожалела, потому что Дарн хмыкнул, а у меня перед глазами встала ладошка Рина и мутный кристалл, оживший в ней. Дикий дар. Незаписанный. Тот, что рвёт гасители, а не гаснет под ними. У моего сына был такой. И я только что вслух, при драконьем отряде, объяснила, чем такой ребёнок ценен для тех, кто эту дрянь делает.

Я опустила голову и работала молча. Дарн вздохнул, по-

смотрел на Рина — тот пристроился у очага, выстраивая из хлебных корок крепость, — и сказал ни с того ни с сего:

— У меня дома трое. Младшему как раз годков пять. — Помолчал. — Длинная это дорога, госпожа, когда дома трое, а ты по чужим площадям амулеты считаешь. Господин-то наш и вовсе один едет. Ни жены, ни детей. Каменеет вот. — Он сказал это тихо, скорее себе, и осёкся, будто сболтнул лишнее про хозяина.

Я не ответила. Я смотрела на сердечник в пинцете и думала, что у дракона, который едет один, ни жены, ни детей, — на самом деле в углу этой залы сидит сын и строит крепость из корок. И что я единственная в этой комнате, кто это знает. Пока единственная.

А потом Рин заскучал.

Он заскучал так, как умеют только пятилетки, — мгновенно, всем телом, безнадёжно. Он сполз с лавки, побродил, потрогал то, сё, и прежде чем я успела его окликнуть, добрёл до чёрного сукна, на котором лежал брак — мутные, треснутые сердечники, отбракованные резчиком, которые серые свалили в отдельную кучку как ненужное.

— Рин, не трогай, — сказала я, и голос у меня сорвался на той ноте, по которой умный взрослый сразу понимает, что мать боится.

Каэл стоял у очага через залу. Он поднял голову.

А Рин уже взял мутный треснутый кристалл в ладошку — некрасивый, отбракованный, мёртвый. И сделал то, что я

ему запрещала. Сделал красиво.

Трещина в кристалле затянулась. Муть стекла, как вода. Камень в детской ладони набрал ровный тёплый свет и стал тем, чем был когда-то, до того как его выпотрошили под сердечник, — живым самоцветом, голубым с золотой искрой в самой глубине. Точь-в-точь цвета, какого не бывает ни у одного камня под Глиню. Цвета жилы Гранёного кряжа. Цвета глаз человека, что стоял у очага и смотрел, как пятилетний мальчишка голой рукой возвращает к жизни то, что целая преступная сеть умела только убивать.

В зале стало очень тихо. Серые замерли. Дарн перестал жевать.

Каэл медленно пошёл через залу. Он не смотрел на меня. Он смотрел на Рина, на свет в его ладони, и лицо у него было такое, какого я не видела у него никогда — ни в гроте, ни на том дворе, где меня выводили. Он опустился перед мальчиком на одно колено, тяжело, как опускается камень, и его живая рука — левая, ещё живая — зависла над детской ладошкой, не смея коснуться.

— Как тебя зовут? — спросил он, и голос у дракона был не громче дыхания.

— Рин, — сказал мой сын и улыбнулся ему доверчиво, потому что красивое он любил, а этот большой дядя смотрел на его камень так, будто понимал. — Я сделал красиво. Только маме не говорите, мне нельзя при чужих. Вы не чужой?

Каэл поднял голову и посмотрел на меня через всю за-

лу, через шесть лет, через груды мёртвых самоцветов, и в его тёмных глазах с золотой искрой стояло то, чего я боялась сильнее Обители Пепла, сильнее закона, сильнее всего на свете.

— Эльда, — сказал он очень ровно, и от этой ровности у меня кровь стала как сердечник — чистая и мёртвая. — Чей это ребёнок?

Глава 3. Кто-то солгал

— Дарн, — сказала я, не отрывая глаз от Каэла. — Уведите мальчика. Накормите ещё, спать уложите. Пусть он не слышит.

Я думала, серый посмотрит на господина — ждать ли позволения. Он посмотрел на меня. Потом подхватил Рина под мышки, легко, привычно, как поднимают своих, и Рин, уже сонный после долгого дня и горящего камня, обвил его шею руками и не возразил.

— А красиво я хорошо сделал? — пробормотал он мне через плечо Дарна.

— Лучше всех, — сказала я. — Спи. Я приду.

Дверь за ними закрылась. В зале остались мёртвые камни, десяток свечей, дракон и я. Серые вышли сами, без приказа, — те, кто служит при таких, как Каэл, чувят, когда надо исчезнуть.

— Чей это ребёнок, — повторил он. Уже не вопрос. Он знал ответ ещё на площади, по глазам, но ему нужно было услышать, потому что есть вещи, которые до тебя не доходят, пока их не скажут вслух.

— Мой, — сказала я.

— Эльда.

— Мой и твой. — Я сказала это и почувствовала, как пол

уходит из-под шести лет молчания. — Ему пять. Считай сам, ты считать умеешь. Он твой, Каэл. Рин — твой сын.

Я ждала чего угодно. Я столько раз представляла этот разговор — в страшных снах, которых не рассказывают, — что выучила наизусть все варианты: гнев, лёд, торжество, требование. Я не угадала ни одного.

Он отвернулся. Дракон, который не отворачивался ни от чего, отвернулся от меня и встал лицом к очагу, и плечи у него поднялись и опустились — раз, медленно, как у человека, которому надо заново вспомнить, как дышат. Каменная рука висела вдоль тела, и пальцы на ней не шевелились вовсе.

— Пять лет, — сказал он в огонь. — Пять лет у меня есть сын. И шесть лет назад ты ушла, зная, что носишь его. — Он обернулся, и я отступила на шаг, потому что в его лице не было гнева, в нём было хуже — было горе, голое, без камня. — Ты унесла моего ребёнка и не сказала. Я каменел тут, считал, что у меня никого, — а у меня всё это время был он. Ты дала мне думать, что я один на свете, Эльда. Зачем?

— Затем, — сказала я, и голос у меня зазвенел, потому что страх во мне всегда оборачивался злостью, так уж я устроена, — затем, что твой дом вышвырнул меня под дождь беременной. Я тогда ещё не знала, что беременна, — узнала через месяц, в придорожной канаве, когда меня вывернуло наизнанку от запаха чужого хлеба. Что мне было делать, лорд Гранн? Вернуться? Постучать в ворота, за которыми

твоя бабка назвала меня грязью, прицепившейся к подолу рода? Сказать: добрый день, я та лгунья, которую уличило ваше Сердце, и я несу дракончика, примете? Меня бы и на порог не пустили. А если бы пустили — взяли бы ребёнка и не пустили меня. Дитя дома Гранн с даром. Наследник. Вы что, не знаете свой собственный род? Его бы забрали. Из меня бы сделали кормилицу при собственном сыне в лучшем случае, в худшем — никем. А его растили бы те, кто меня изгнал, и научили бы стыдиться матери.

— Я бы не позволил...

— Тебя там не было! — Я задохнулась. — Тебя не было, когда меня выводили, Каэл. Я искала твоё лицо в той толпе. Я думала: сейчас он встанет, сейчас скажет — стойте, это моя пара, я её выбрал. Я держалась этой мысли, пока меня тащили через двор. Ты не встал. Ты дал им. И после этого ты говоришь мне, что бы ты не позволил? Я перестала верить в то, что ты не позволишь, ровно в ту минуту. Шесть лет назад. На том дворе.

Он молчал. В очаге стрельнуло полено, и сноп искр взлетел и погас, и я смотрела, как они гаснут, потому что на него смотреть не могла.

— Я растила его одна, — сказала я уже тише, потому что злость выгорела, а под ней, как всегда, оказался один голый страх. — В городке, куда добираются, чтобы спрятаться. Я учила его не делать красиво при чужих. Учила пятилетнего ребёнка прятать то единственное, чем он чудесен, — потому

что за это чудо в нашей империи жгут. Ты хоть представляешь, каково это? Каждый день смотреть, как твой сын зажигает в кулаке свет, чтобы выжить? Я не отнимала его у тебя, Каэл. Я уносила его от Обители Пепла. От реестров. От твоего рода. От всего, что делает с такими, как он, и с такими, как я. Если ты не понимаешь разницы — мы зря тратим свечи.

— Ты думаешь, я не понимаю, что делают с одарёнными? — сказал он тихо, и тихо у него было страшнее, чем у других в крик. — Я полгода еду по империи и собираю в мешок то, что осталось от таких, как наш сын, после того как из них вытянули свет. Я понимаю лучше тебя, Эльда. Я держал на руках девочку, из которой выдоили дар в склянку, и она не помнила, как её зовут. Я знаю, чего ты боялась. Я просто не могу простить, что ты боялась этого больше, чем доверяла мне.

— Я тебе доверяла. Один раз. Ты помнишь, чем кончилось.

Он принял удар не дрогнув, но я видела, что попала.

— Шесть лет, — сказал он. — Знаешь, как они идут, когда ты дракон без пары? Сначала ты говоришь себе, что выживешь и так. Драконы и раньше жили одни. Потом сердечный камень начинает твердеть, и ты впервые чувствуешь его — там, где у людей просто стучит. Он тяжелеет. Каждый месяц на чуть-чуть. Ты учишься спать на спине, потому что на боку давит. Учишься не подносить руку к огню, потому

что камень не чувствует тепла и ты не замечаешь, как обжётся. Бабка таскает в чертог невест — одну за другой, всех родов, иные хороши, иные умны, — и каждая смотрит на твою руку и считает, сколько ты протянешь, прежде чем стать им вдовым самоцветом в перстне. И ты их отсылаешь, всех, потому что Сердце один раз загорелось на тебя, и пусть оно соврало, пусть оно потом назвало её ложью — оно горело, и второго такого огня тебе уже не будет. Я отсылал невест и каменел, и думал, что храню верность лгунье. А оказывается, я каменел по тебе, и ты была не лгунья, и наш сын в это время учился прятать свет. Так что не говори мне, что я не понимаю. Я очень хорошо понимаю. Мне просто некуда это деть.

Я молчала. Мне нечего было сказать на это — потому что осколок под фартуком всё это время лежал у меня в кулаке чистый, тёплый, ровный, ни разу не дрогнув, и значит, всё, что он сказал, было правдой до последнего слова. А правда — это всегда трещина, по которой держишься ты сам и за которую цепляется чужая рука.

Долгая тишина. Потом он подошёл — не ко мне, к столу, — и оперся на него обеими руками, живой и каменной, и склонил голову, и я увидела этот серебристый с искрой иней у него в волосах вблизи, и мне до боли захотелось протянуть руку и тронуть, как шесть лет назад. Я сжала кулаки.

— Расскажи мне про ту ночь, — сказал он вдруг. — В гроте. Я хочу услышать, как её помнишь ты.

— Зачем?

— Затем, что я её помню каждый день шесть лет, и она у меня в голове кривая. Я хочу выправить.

Я закрыла глаза.

— Меня привезли к вам гранить, — сказала я. — Большая работа: дому Гранн понадобился мастер огранить камни к зимнему сбору, а я тогда подавала надежды, и меня рекомендовали. Я три недели жила в чертоге, в каморке при мастерской, и ты приходил смотреть, как я работаю. Сначала я думала — проверяешь. Потом поняла — тебе просто нравится смотреть, как из мутного выходит свет. Ты сам такой был, мутный снаружи. — Я сглотнула. — А в ночь зимнего сбора ты повёл меня вниз. В грот. Показать Гранёное сердце — никого из чужих туда не водят, а ты повёл. И когда мы вошли, оно... проснулось. Загорелось. Не на меня даже — на нас обоих, тёплым, как живое. Ты сказал: «Оно так делает раз в сто лет. На истинную пару». Ты сказал: «Я тебя нашёл. Из всей горы — тебя». И я тебе поверила, дура. Я, которой всю жизнь претило слишком красивое и беспорочное, поверила в него, как последняя дура.

Я говорила, и грот вставал передо мной, как наяву: чёрные стены в прожилках самоцвета, низкий тёплый гул Сердца, его дыхание у меня над виском. Он тогда снял перчатку — обе руки ещё были живые, тёплые, с мозолью от меча на правой ладони, — и положил ладонь мне на затылок, и я помню, как у меня по спине прошла дрожь не от холода, а от того, что меня впервые в жизни держали так, будто я дороже

любого камня в этой горе. «Я не умею говорить, — сказал он тогда. — Я умею только показывать. Смотри». И Сердце разгорелось ярче. Я тогда поверила не словам — словам я не верила сроду. Я поверила камню. Камень не умеет льстить.

Сейчас, рассказывая, я подняла глаза и обнаружила, что он стоит совсем близко, ближе, чем я заметила, и его живая рука поднялась — сама, против воли, я видела, что против воли, — и зависла у моей щеки, не касаясь, в полупальце. Шесть лет назад я бы подалась навстречу. Сейчас я стояла как вкопанная, и мы оба смотрели на эту руку, повисшую между нами, как на чужую.

Он опустил её первым.

— Это не было гладко, — сказал он хрипло. — Это было правдой.

— Тогда объясни мне, что было через три дня! — Я открыла глаза. — Через три дня меня позвали вниз, к Сердцу, для обряда — закрепить связь при дворе, ты говорил, так положено, перед родом. Я шла туда счастливая, Каэл. Самая счастливая дура в империи. А дальше...

Я осеклась. Потому что, рассказывая вслух, впервые за шесть лет — по порядку, не урывками кошмара, — я вдруг услышала, как мой собственный рассказ заскрипел. Как скрипит камень, в котором есть скрытая трещина, когда давишь не туда.

— Что — дальше, — сказал Каэл. Он смотрел на меня очень внимательно. — Эльда. Что было дальше у Сердца.

— Я стояла перед ним, — медленно проговорила я, нащупывая память, как нащупывают в темноте ступеньку. — Перед Гранёным сердцем. Твоя бабушка, кастелян, ещё люди. И я положила руку, как велели. И Сердце... — я нахмурилась, — Сердце загорелось. Чисто. Ясно. Я помню этот свет, Каэл, он у меня под веками до сих пор, я по нему шесть лет тоскую. Оно прояснилось на меня. Я стояла в этом свете и думала: вот, всё правда, я не лгунья, оно подтвердило. А потом... — Голос у меня сел. — Потом меня взяли под руки. И кастелян сказал что-то, и поднялся шум, и твоя бабушка отшатнулась от меня, как от прокажённой, и меня поволокли вон. И я не понимала, не понимала, за что, ведь оно же горело, я же видела, как оно...

Я замолчала.

В зале стало так тихо, что я слышала, как оседает воск на свечах.

Каэл выпрямился. Очень медленно. Лицо у него сделалось совсем белым — белее камня на руке.

— Эльда, — сказал он, и каждое слово выходило отдельно, тяжело, как падает в воду камень. — Мне сказали другое. Мне сказали, что ты к Сердцу не подошла. Что ты испугалась обряда и созналась — созналась, что лгала, что подстроила ту ночь в гроте, что никакая ты не пара. Мне сказали, что Сердце даже не пришлось зажигать: ты сама во всём призналась при кастеляне и бежала. Я не видел тебя у Сердца. Меня в тот час не пустили вниз — сказали, жениху при отрече-

нии быть неместно. Я поверил. Я шесть лет верил, что моё Сердце показало бы тебя ложной, потому и не понадобилось его жечь.

Мы смотрели друг на друга через стол с мёртвыми камнями, и я чувствовала, как у меня волосы шевелятся на затылке.

— Но оно горело, — прошептала я. — Каэл. Я стояла в его свете. Оно прояснилось на меня. Я это видела. Своими глазами. Никакого отречения не было — меня выволокли из света силой.

— А мне сказали, что света не было вовсе.

Тишина.

— Тогда кто-то солгал, — сказала я, и собственный голос показался мне чужим. — Слышишь? Не камень. Камень горел. Солгал человек. Кто-то встал между тобой и мной, между нами и Сердцем, и сказал тебе одно, а мне сделал другое. Шесть лет назад в твоём чертоге кто-то солгал так, что я потеряла тебя, ты потерял меня, а наш сын вырос в Глини, пряча свет в кулаке. И этот кто-то, Каэл, — я перевела дыхание, — этот кто-то всё ещё в твоём доме. Потому что мёртвые так не лгут. Лгут живые, которым это выгодно.

Каэл смотрел на меня, и в его тёмных глазах с золотой искрой медленно, страшно разгоралось то, чего я не видела у него никогда за все наши три недели и шесть лет, — не горе и не лёд, а ярость, холодная и точная, как огранённая грань.

— Назови мне, — проговорил он, — кто стоял у Сердца

в тот час. Поимённо. Всех, кого помнишь.

И я стала вспоминать вслух, и память, которую я шесть лет гнала, послушно открылась, потому что страшное помнится лучше счастливого — у страшного больше граней.

— Твоя бабка, — сказала я. — Вдовствующая госпожа Вестрида. Она стояла справа, в сером, и я ещё подумала, какая она красивая и какая холодная. Двое или трое лордов в годах, лиц не помню, помню цепи на груди. Стража у входа в грот, двое. Женщина, что меня привела, — из прислуги, имени не знала. — Я закрыла глаза, чтобы видеть яснее. — И ещё один. Который стоял ближе всех к Сердцу. Который говорил. Распорядитель, что ли, поверенный — он всем там распоряжался, и бабка твоя слушала его, кивала. Это он сказал, когда Сердце загорелось, — я только теперь понимаю, что он сказал это, перекрикивая свет, — он сказал что-то про обман, про то, что огонь поддельный, что я навела морок. Это он первый взял меня под руку. Не стража. Он. Мягко так взял, по-отечески, и шепнул мне на ухо, пока тащил: «Не позорься, девочка, тебе же легче выйдет». Я думала, он меня жалеет. Я шесть лет думала, что хоть кто-то там меня пожалел.

Я открыла глаза.

Лицо у Каэла было страшным. Он знал. Я ещё не назвала имени, а он уже знал, и от этого знания его каменная рука сжалась с тихим скрежетом, какого человеческая рука издать не может.

— Опиши его, — сказал он.

— Высокий. Худой. Лет под пятьдесят тогда. Седой висок, и говорит так... ровно, гладко, приятно. Голос как тёплое масло. И руки холёные, не воинские. Я ещё, помню, удилилась — у всех вас руки в мозолях, а у него как у писаря.

— Орвальд, — сказал Каэл.

Имя упало в тишину, и осколок у меня в кулаке остался чист: он не лгал, называя его. Он просто узнал.

— Лорд Орвальд Гранн, — повторил он, и теперь голос у него был не масло — камень по камню. — Кастелян Гранёного кряжа. Брат моего отца по матери. Он растил меня после смерти отца. Он держит мой дом, мою казну, мои рестры, мою жилу — всё, пока я на рубеже и пока я каменею. Шесть лет он пишет мне письма дважды в месяц, докладывает о каждом мешке руды, о каждом ребёнке, родившемся в моих деревнях. Он встречает меня у ворот, когда я приезжаю, и провожает, когда уезжаю. Он... — Каэл осёкся, и я увидела, как в нём борются ярость и что-то старше ярости — то, чем держится мальчишка за единственного взрослого, который остался. — Он единственный, кому я верил все эти годы. Понимаешь? Все шесть лет, что я каменею, он был рядом. Если ты права — выходит, что человек, который рассорил меня с моей парой и обрёк меня на это, — он же все эти годы держал мою руку, пока она каменела от его лжи.

— Я знаю, что я видела, — сказала я тихо.

— А я знаю Орвальда тридцать лет! — Он не повысил го-

лоса, но зала будто качнулась. — Поосторожнее, Эльда. Ты вернулась в мою жизнь сегодня утром, а к полудню обвиняешь человека, который не оставлял её ни на день. Может, ты обозналась. Может, тот распорядитель был похож. Шесть лет — долгий срок, лица стираются.

— Лица — да. — Я подняла подбородок. — Голос как тёплое масло и шепоток «не позорься, девочка» — нет. Такое не стирается, лорд Гранн. Такое прорастает внутрь, как твой камень.

Мы стояли друг против друга, и я понимала с какой-то усталой ясностью: вот и всё. Мы наконец сказали правду — и правда нас не помирила, а развела заново, потому что между нами по-прежнему стоял он. Только шесть лет назад он стоял у Сердца, а теперь — в сердце Каэла, живой, при власти, незаменимый. И чтобы доказать, что я не лгунья, чтобы сделать моего сына не «бастардом приبلудной огранщицы», а тем, кто он есть, мне предстояло вернуться в тот самый чертог, к той самой бабке, под взгляд того самого человека с холёными руками — и привезти туда Рина.

— Я не повезу сына на Кряж, — сказала я. — Слышишь? Куда угодно, только не туда.

Каэл посмотрел на меня, и в его глазах ярость уступила место чему-то, от чего мне стало по-настоящему холодно, — спокойной, каменной решимости.

— Повезёшь, — сказал он. — Потому что теперь у нас обеих одна дорога. И она ведёт к Сердцу.

Глава 4. Гранёный кряж

Дорога на Гранёный кряж заняла три дня, и все три дня я просидела в крытой повозке, сторожа сына и собственное сердце, и не уберегла ни того ни другого толком.

Рина дорога привела в восторг. Для него это было не возвращение в логово зверя, который мог нас сожрать, — для него это было приключение с лошадьми, серыми дядьками и большим молчаливым дядей, который, как выяснилось, знал про камни всё. Я гнала Каэла от повозки взглядом, а он всё равно подъезжал — будто невзначай, по краю, — и Рин висел на бортике и сыпал вопросами, и дракон отвечал. Терпеливо. Подробно. Без той складки у рта.

— А почему гора синяя? — кричал Рин.

— Потому что в ней спит самоцвет, — говорил Каэл. — Камень помнит небо и хранит его цвет внутри. Если приложить ухо к правильной жиле, слышно, как он растёт.

— Камни растут?!

— Медленно. Медленнее, чем ты. Камню, чтобы стать с твой кулак, нужно столько зим, сколько у тебя не наберётся пальцев на всех людях Глини.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.